



© 2004 г. Л. Е. ГОРИЗОНТОВ

## “ПОЛЬСКАЯ ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ” И “РУССКОЕ ВАРВАРСТВО”: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТЕРЕОТИПОВ И АВТОСТЕРЕОТИПОВ

Русско-польское противостояние имперского периода, масштабное и острое, еще и весьма многогранно, а потому может описываться различными способами. Возможные дискурсы, между тем, не одинаково плодотворны в плане получения новых знаний и адекватных представлений о сути явлений. В некоторых случаях исследовательское направление может себя исчерпать, в других – недостаточно репрезентативна для выводов источник база, в третьих – не получила должного развития теоретическая рефлексия, в четвертых – исследователи оказались в плену стереотипов.

Стереотипы, в частности этностереотипы, изучать необходимо. Они не только отражают, пусть в преломленном виде, реалии, но и формируют убеждения, управляют поступками людей, вплоть до принятия ими политических решений, способных действительно изменять. Сам феномен преломления несёт в себе уникальную информацию о менталитете эпохи. В то же время существует тенденция к коллекционированию стереотипов, ограничивающемуся их реконструкцией без должной интерпретации. В конечном счете такого рода игры интеллектуалов служат укоренению и пропаганде традиционных клише, способствуют их вторжению из прошлого в сегодняшний день, а вовсе не изживанию, как нередко декларируется.

Из перспективных, на мой взгляд, способов описания русско-польских отношений, назову несколько. Во-первых, изучение их под углом зрения национализма, причем не только собственно польского и русского, но также украинского, белорусского, литовского, еврейского. Например, сопоставительное изучение русско-украинских и польско-украинских стереотипов могло бы дать существенно больше, нежели умножение работ по узко понимаемой русско-польской проблематике. Имеет смысл продолжать изучение типологии и взаимодействия польского и русского антисемитизма и т.д.

Во-вторых, плодотворным представляется описание национального противоборства в геополитических категориях. Роль пространственных представлений очень велика, и не случайно ментальная география заняла в современной научной литературе весьма видное место. В рамках Российской империи на протяжении многих десятилетий соперничали два ядра – русское

и польское *core areas*, если пользоваться терминологией англоязычной литературы, наиболее преуспевшей в геополитическом осмыслении прошлого (сошлюсь хотя бы на работы американского историка Дж.П. ЛеДонна, который касался и русско-польских сюжетов, но применительно к эпохе межгосударственного соперничества двух стран [1]). Важно изучение русско-польского взаимодействия как в самих этих ядрах (поляки в собственно России и русские в собственно Польше), так и за их пределами, прежде всего в наиболее конфликтогенной фронтальной зоне между ними, т.е. привнесение в проблематику стереотипов регионального измерения [2].

В-третьих, немало дает учет имперского контекста, помещающего поляков в один ряд с другими народами, населявшими дореволюционную Россию – немцами, финнами и др. Именно таким образом возможно отделить уникальные черты русско-польского взаимодействия от того, что уникальным не являлось.

В-четвертых, интересен подход, который можно назвать этнопсихологическим. Он основан на теоретических разработках этнологов, посвященных тому самому феномену преломления, о котором речь шла выше, и позволяет глубже проникнуть в ментальные механизмы складывания стереотипов. Эти механизмы охарактеризованы, в частности, в работах А.С. Мыльникова, и их действие убедительно показано на русско-польском материале середины XIX в. воронежским историком М.Д. Долбиловым [3]. Собственно, еще Н.Н. Страхов задался вопросом о том, что они, поляки, думают о себе, и попытался, не дезавуируя польского взгляда, воссоздать с его помощью русский автостереотип.

Наконец, оправданы усилия по сравнительному изучению русской и польской народной культуры с точки зрения формирования и бытования в ней этностереотипов, их сопряженности с представлениями, свойственными образованному обществу.

Словом, назрела необходимость в оптимизации исследований, проводимых в русле обсуждаемой проблематики. Задача моей статьи, конечно же, более скромная. Это приглашение к разговору – в свете всего сказанного выше – о целесообразности осмысления русско-польских взаимоотношений сквозь призму цивилизационной парадигмы.

Существующая со времен античности дихотомия цивилизация – варварство [4], издавна использовалась для характеристики русско-польских отношений. Оказавшись подданными России, поляки сравнивали свое положение в начале XIX в. с Грецией в составе Римской державы, сумевшей покорить завоевателей в культурном плане [5]. Александр I рассматривал дарованную Царству Польскому Конституцию как пробный камень на пути общегосударственных преобразований, вызывая неприятие в русском обществе, представители которого ставили под сомнение право поляков на первенство, тем более что со своими соседями русские издавна вели еще и “домашний”, “славянский спор”. Одновременно в том же русском обществе было достаточно широко распространено признание цивилизационного превосходства не только западных стран, но и западных инородческих окраин империи.

Причем, как подчеркивает А. Валицкий, о цивилизационной “ущербности” русских писали представители консервативного направления русской общественной мысли. Особенно громкую известность получили выступления П.Я. Чаадаева и Н.Н. Стрехова [6]. О польском превосходстве как укоренив-

шемся стереотипе упоминает Д.А. Милютин: “Стоящий... на высшей степени цивилизации сравнительно с Россией (таков был у многих взгляд на польский народ)” [7. С. 322]. С 1860-х годов, как свидетельствует Страхов, эти представления встречались с растущим отпором, но отнюдь не исчезли. Его знаменитая статья “Роковой вопрос” в 1863 г. не только вызвала меры административного характера, но породила бурю возмущения.

И дело не только в антипольских настроениях. Многие убеждения, получившие распространение в русском обществе, вступали в явное противоречие со взглядом на цивилизационное превосходство. Оспаривалась польская религиозная толерантность, дискредитировавшаяся в глазах русских перипетиями диссидентского вопроса, ультрамонтанством, прозелитизмом католичества и антисемитизмом поляков [8]. Резкой критике подвергалось отношение польских панов к зависимым от них крестьянам, ставился под сомнение пропагандировавшийся шляхетскими кругами патернализм [9]. Десятилетиями продолжалась дискуссия об ответственности за распространение революционных настроений в России, в ходе которой с обеих сторон высказывалась мысль о том, что цивилизация, ставшая проводником разрушительных начал, есть цивилизация гибнущая [10]. Явно не соответствовали представлениям о цивилизованности и используемые польским национальным движением методы борьбы [11].

Словом, многие аргументы, которыми оперировало русское общественное мнение, говорили отнюдь не в пользу цивилизованности поляков. М.Д. Долбилов справедливо считает полонофобский стереотип поляка-анархиста перевернутым полонофильским стереотипом поляка-рыцаря и представителя европейской цивилизации. Да, поляки – рыцари, но не олицетворение вневременного благородства, а хранители средневековой дикости. И бунтуют они более по этой причине, чем по мотивам национального характера. Да, поляки – представители Европы, но Европы давно не существующей, разрушенной прогрессом цивилизации. Их образованность – средневековая схоластика. Восстание же – рыцарский турнир, навязанный вступившему в эпоху индустриального развития и новым понятиям о прогрессе русскому народу. В эпоху Великих реформ русские вынуждены охотиться по лесным дебрям за польскими бандами. Есть основания полагать, что представления о средневековой отсталости Польши восходят к бичевавшей феодализм и клерикализм политической мысли европейского Просвещения XVIII в.

Такая интерпретация снимает проблему нестабильности стереотипов, которая обычно ставит в тупик их коллекционеров: ядро стереотипа остается неизменным, но его аксиологическая интерпретация ситуационно пластична. Данный стереотип терял свое влияние по мере обострения экономической конкуренции между центром и окраинами империи. Царство Польское шло в авангарде индустриального развития, имперскому центру, внутренней России приходилось обороняться. Характерно, однако, что сами поляки продолжали считать сильно отстававшие в плане модернизации кресы, особенно историческую Литву, главной хранительницей *polskości*. Историческая память неизменно обращала их взоры на восток.

“Суть всей статьи, – комментировал В.Ф. Одоевский публикацию Страхова, еще не зная ее действительного автора (статья была подписана “Русский”), – что поляки цивилизованнее русских. Что тут под цивилизацией разумеется, праздность шляхты, конфедератки, кунтуши, роскошь богачей

или ремесленность жидов – неизвестно. Если бы сказали, что прусский или веймарнский крестьянин знающее русского, это было бы так, – но чем польский крестьянин образованнее русского? Русский понимает по крайней мере, что читают в церкви, польский того не понимает". Одоевского удивляет, как такое напечатал русский журнал, он убежден, что автор – поляк, поскольку статья пропагандирует "понятия польские" [12. С. 168]. Точно также три года спустя русское общество с трудом поверит в то, что Д. Каракозов – не поляк.

Ф.П. Еленев летом 1863 г. полемизировал с поляками и их русскими почитателями, которые "многовековую прю Польши с Россиею... выставляют как борьбу высокой польской цивилизации с русским варварством". "Истинная цивилизация" в понимании Еленева предполагает "государственный порядок, гражданскую свободу и религиозную терпимость", и этих устоев он не находит ни в исторической, ни в современной Польше. Описывая порядки Речи Посполитой, Еленев широко цитирует И. Лелевеля, Д.И. Зубрицкого и "Историю русов", автором которой тогда считали Г. Конисского.

Особенное негодование этого принимавшего деятельное участие в подготовке крестьянской реформы автора вызывало отношение шляхты к хлопам, который "переставал пользоваться правами человеческими" и находился в значительно худшем положении, нежели русские крестьяне. По своим "разрушительным инстинктам" мелкая шляхта, согласно Еленеву, превосходит западных пролетариев, на которых тогдашняя русская общественность привыкла смотреть сквозь призму "язвы пролетариата". Отказывая полякам в цивилизационном превосходстве, цивилизаторской роли по отношению к Западной Руси и нравственном праве на лидерство в славянском мире, публицист ставил под сомнение и их право на национальную независимость: "Национальная независимость есть святое и драгоценное право тех народов, которые способны ею пользоваться не во вред другим народам и самим себе". При этом Еленев выступает не с государственных, имперских, а с общечеловеческих, по его собственному определению, позиций, проявляя известное свободомыслие [13].

Таким образом, речь шла не только о шляхте, но и о крестьянстве. Полная этносоциальная структура – это один из важнейших признаков национального ядра, этнического материка. Поначалу данный признак большой роли в образах регионов империи и населявших ее этносов не играл. Гораздо существеннее оказывалось деление народов на "исторические" и "неисторические", причем российские власти обнаруживали готовность опираться исключительно на социальные элиты [14]. Много сил было потрачено на очищение региональных элит от маргинальных, с точки зрения правительства, элементов, чему, в частности, служил "разбор" шляхты.

Со временем, однако, опора на социальные низы в создании системы национальных противовесов и стабилизации империи стала рассматриваться все чаще, пока, наконец, не была использована на практике в связи с подавлением восстания 1863–1864 гг. Свою роль сыграло и осознанное желание опираться в Западном крае и Царстве Польском не только на материальную силу, но и духовно-нравственную силу идей. По сути мы имеем дело с опытом, идеологическое осмысление которого возможно в системе координат "народной монархии".

Крепло убеждение (или предубеждение) в том, что полноценность народа немислима без наличия у него полной этносоциальной структуры: для исто-

рического бытия в новых условиях недостаточно одного национального дворянства – необходима народная почва. Поляки в Западном крае такой почвы были практически лишены. Примечательно, что власти не проявляли заинтересованности в создании элитного слоя из местного восточнославянского населения. Превращения верхушки крестьянства в крупных земельных собственников опасались и по принципиальным сословным соображениям, и в предвидении их поглощения польской средой, как только изменится образ жизни вчерашних земледельцев. “Достраивание русского здания” в западных губерниях виделось путем притока свежих великорусских сил, с последними также связывались надежды на исправление польской “порчи”, за которую часто принимали этнические особенности малорусов и белорусов.

Наличие у шляхты национальной почвы ставилось под сомнение и в Царстве Польском. Шляхте припоминался ею же созданный когда-то сарматский миф, а крестьянство наделялось чисто славянскими чертами, что делало его, несмотря на католическое вероисповедание, ближе русским, нежели собственному господствующему классу. В полной мере эксплуатировалось то обстоятельство, что национальное сознание крестьянина Центральной Польши еще не сформировалось, оставляя поле для большой этнополитической игры.

Ущербность шляхты, этой главной в то время силы *Polski walczącej*, таким образом, доказывалась с помощью развернутой системы аргументов, накопленных за период нахождения земель Речи Посполитой в составе империи. Она лишена почвы, не национальна не только в общеславянской, но и собственно польской перспективе (мотив латинского отступничества или изначальной сарматской чужеродности). Она архаична и являет собой тип подлинного европейского изгоя, на часах которого давно прошедшее историческое время. Она ущербна также в сословном отношении, поскольку неоправданно многочисленна даже после нескольких десятилетий “разбора”, учиненного ей российским правительством.

Обратимся теперь к тем народам, восприятие которых в русском обществе может составить параллель стереотипу поляков. Говоря о прибалтийских губерниях, П.А. Валувев отмечал “высокомерное понятие местных немцев о превосходстве своей цивилизации над тем, что они называли русским невежеством и варварством (*russische Rohheit und Barbarei*)”. Он писал о том, что “немецкий элемент в крае имеет все преимущества развитой цивилизации и что всякая цивилизованная среда естественно поддается нравственным влияниям и столь же естественно упирается против натиска грубой материальной силы” [15. С. 422, 433]. Региональная публицистика пропагандировала идею колонизаторской миссии немцев в крае [16. С. 18]. “Если на нашей русской стороне, – писал К.Н. Леонтьев, – так сказать, идея демократическая, право этнографического большинства (эсты и т.п.), то на стороне немцев идея высшая, культурная и аристократическая в этом вопросе... Один остзейский породистый барон сам по себе стоит целой сотни эстского и латышского различия” [17. С. 313–314].

Обособление от остальной России достигалось консервацией в Остзейском крае средневековых институтов, что вызывало критику со стороны русских. Однако, согласно П.А. Валувеву, “принадлежность к великому политическому организму льстила их самолюбию. Перейдя за границу, при встрече с иностранцами, курляндцы, лифляндцы и эстляндцы называли себя русскими дворянами (*russischer Edelmann*) и своим отечеством признавали Россию” [15.

С. 422]. “Когда какой-нибудь русский немец, – вспоминал Г. Гейне свое общение с остзейцем во второй половине 1820-х годов, – патриотически хвастается и распространяется о “нашей России”..., мне кажется, будто я слушаю селедку, выдающую океан за свою родину, а кита – за соотечественника” [18. С. 227].

Материал для сопоставления дает также Финляндия. “Вообще в Финляндии... относились к России и ко всему русскому с презрением, как к чему-то варварскому, азиатскому... Шведская история, география Швеции, шведская литература изучались с такой подробностью, что едва ли в самой Швеции этим предметам уделялось больше времени и труда”. А. Редигер, кстати, военный министр империи, из воспоминаний которого взята приведенная цитата, также считал культуру Финляндии более передовой по сравнению с российской [19. С. 46]. В то же время финно-угорские народы, наряду с тюркскими, в глазах русских выступали представителями азиатства в Европе. Н.И. Надеждин писал, что в великороссах “много азиатского, но не столько южного, татарского, сколько северного финского” [20. С. 269].

Если в остзейцах со временем стали усматривать пятую колонну пангерманизма, то ареной финской экспансии были объявлены не только Карелия, но также Эстляндия и даже Поволжье, куда отправлялись финские этнографы и миссионеры. Финны обсуждали вопрос о территориальном расширении Великого княжества, что также составляло аналогию с поляками, ходатайствовавшими о расширении Царства Польского [21]. В Поволжье репутацию “поляков Востока” получили татары, в частности, проводилась параллель между татаризацией ислама и полонизацией католицизма.

“Как бы мы не расходились в самых разнообразных вещах, – читаем в мемуарах В.В. Шульгина изложение его выступления в Государственной Думе, – однако надо признать всем, что плохо с русским народом. Мы не только безнадежно отстали от наших западных соседей, но даже внутри на этой огромной равнине, которая называется Российской империей, и тут происходит страшная трагедия: мы отстаем от поляков, евреев, финнов, немцев и чехов, отстаем – это факт” [22. С. 185]. На оценку Шульгина, несомненно, повлияла ситуация в Юго-Западном крае, с которым он был связан, и имел он в виду “триединую” русскую нацию.

В рамках цивилизационного подхода способность ассимилировать другие народы и противостоять их поглощающей силе считается важным показателем. “Нужно верить, – призывал с думской трибуны П.А. Столыпин, – что Россия не культурогаситель, что Россия сама смело шагает вперед по пути совершенствования, что Россия не обречена стать лишь питательной почвой для чужих культур и для чужих успехов” [23. С. 311]. Исторический оптимизм премьерера, служебная карьера которого начиналась в польской среде западных губерний, не вполне разделялся его ближайшими сотрудниками по Министерству внутренних дел. “Нельзя подчинить себе народности с высшей культурой, – писал П.Г. Курлов, – при условии, что государство, желающее этого подчинения, стоит на низшей. Этим, по-моему мнению, объясняется тщетность всех попыток ассимилировать России Финляндию и Польшу” [24. С. 111–112]. “Коренная Россия, – считал С.Е. Крыжановский, – не располагала запасом сил культурных и нравственных, которые могли бы служить инструментом подобной ассимиляции, тем более, что многие окраины, вследствие особенностей их истории и географического положения, в культурном отношении стояли гораздо выше коренной России” [25. С. 128].

За пределами внутренней России – и, что важно подчеркнуть, не только в западной части империи, но и на востоке (Кавказ, Сибирь) – русские, по многочисленным свидетельствам, которыми мы располагаем, становились другими, утрачивая чистоту великорусской идентичности, а вместе с ней и свои государствообразующие качества. Для описания этого явления до революции широко использовались такие понятия, как “полуазиатство”, “грубость нравов”, “одичание”, “малокультурность”, т.е. явно противоположные цивилизованности.

В начале XX в. с ростом контактов между национальными движениями Российской империи вопрос о культурном потенциале и “культурности” народов, прежде всего в их соотношении с русскими, стал предметом совместных обсуждений представителей различных национальностей. Об одном из них, состоявшемся в кулуарах съезда журналистов (Петербург, март 1905 г.), рассказывает в своих мемуарах украинец Е. Чикаленко. Тогда на почве стремления к федерализации империи, по инициативе украинцев, сошлись представители эстонцев, латышей, финнов, грузин и армян. Поляки, ставя перед собой цель достижения государственной независимости, от сотрудничества отказались. Не сложилось и взаимодействие с многочисленными на съезде евреями. Зато откликнулся, несмотря на сепаратистские цели своего национального движения, финн. В противовес официальному правительственному курсу “сознательные украинцы” настойчиво добивались признания своих соплеменников инородцами.

Мечтая о федеративном строе, “инородческие” журналисты “опасались совместно проживать в одном государстве с полуазиатским, некультурным народом московским”, который в Варшаве, Киеве или Тифлисе “чувствует себя народом-хозяином”. “В понимании москаля, все народы ниже него, ко всем он относится с презрением: украинец у него “хохол-дурак”, поляк – “полячишка”, финн – “чухна поганая”, кавказцы – “татарва безмозглая”, еврей – “паршивый” и т.д.”. Будучи индивидуалистами в культурном отношении и к тому же ведя “домашнюю” тяжбу со своими соседями, инородцы не могут ему противостоять.

“Кто-то заметил: какой же московский народ некультурный, если он создал такую высокую литературу, музыку, живопись, на которых воспитывались мы все и которыми восхищается весь мир?”

На это ему отвечали, что это не народная московская культура, а общерусская, выросшая, как роскошный цветок в теплице на навозе, что ее вырабатывали не только москали, но также “инородцы”. Русский роман создал “малоросс” Гоголь, музыку – белорус Глинка и “малоросс” Чайковский, живопись – “малороссы” Левицкий, Боровиковский и т.д. А народ московский еще пребывает на первобытной ступени культуры...”. В этой связи говорилось о примитивной технике обработки земли и отсутствии частной собственности на нее, деспотии мира и большеяков, полигамии в крестьянских семьях.

“А финн добавил:

– Даже прославленную “московскую баню”... они позаимствовали у нас, финнов, как и “овин”, “ригу”, где сушат огнем снопы хлеба.

Под властью московского народа финско-монгольские племена, такие как мордва, чуваша, зыряне и другие до сих пор еще полудикари, до сих пор еще язычники, поклоняющиеся идолам, тогда как родственные им племена вроде финнов, эстонцев, которые были под властью культурных народов, таких как шведы и немцы в Прибалтике, переняли у них лютеранскую веру, готический шрифт, вообще культуру и сделали самими культурными народами в России, в чьей среде нет неграмотных”.

Под московским игом произошла деградация украинской культуры, включая культуру политическую. Тем не менее “народная украинская культура стоит несравненно выше московской”, “украинский народ несравнимо более культурный, чем московский”. Это особенно хорошо известно уроженцам русско-украинского пограничья и тем, кто “проехал Россию от Черного моря до Белого” [26. С. 362–367].

Журналисты в той или иной форме доводили свои убеждения и до сведения широких читательских кругов. В дальнейшем тенденция изображать русских варварами получила продолжение в послеоктябрьской эмиграции и ныне в публицистике и паранаучной литературе ряда постсоветских стран и стран бывшего социалистического лагеря.

Европеизм, христианство и нравственность – три сопряженных между собой понятия – имели в рассматриваемое время основополагающее значение для понимания цивилизованности.

Поскольку цивилизация обычно ассоциировалась с Европой, а варварство с Азией, русско-польское соотнесение естественным образом попадало в поле вечного и глобального вопроса отношений России с Европой. Полемизируя со Страховым, М.Н. Катков ставил под сомнение как азиатство России, так и европеизм Польши. От признания последнего далек сам Запад: “Он (Страхов. – Л.Г.) вообразил себе..., что Европа видит в Польше цвет своей цивилизации” [27. С. 409, 416].

Но цивилизация ассоциировалась также с христианством, внутренние деления которого теряли значение, когда речь заходила об отношениях с нехристианским миром. В колонизации восточных пространств присутствовал более широкий цивилизационный подход: представителями имперской колонизации становились все христианские подданные, не исключая поляков. Россия на Востоке выступала в роли носителя европейского начала.

Помимо треугольника Россия – Польша – Европа, существовал другой треугольник: Россия – Османская империя – Европа, связанный с Восточным вопросом, который, в свою очередь, в представлениях людей второй половины XIX в., не был изолирован от польского вопроса. При обсуждении Восточного вопроса собственно славяно-турецкий конфликт часто отходил на второй план, уступая место инвективам в адрес Европы, которая, провозглашая поход против варварской России, поддерживает турок, т.е. в действительности руководствуется отнюдь не цивилизационными мотивами. Так рассуждал П.А. Вяземский в 1854 г., А.В. Никитенко в 1876 г. – оба, наблюдая общественные настроения в бытность свою за границей. “Мы пройдем молчанием доводы цивилизации, потому что чересчур смешно считать своим триумф магометанской державы,” – писал Вяземский и продолжал: “Борьба цивилизации против варварства: опять метафора, нелепая и лживая... Это не борьба цивилизации и варварства, а лжи и правды” [28. С. 466, 477, 485]. Обращаясь мыслью к событиям 1830–1831 гг. с перспективы Крымской войны, Вяземский возлагал вину на поляков, противореча своей собственной точке зрения в момент восстания [29]. Интересно, что жандарм Л.В. Дубельт, с подозрением относившийся к Вяземскому, даже когда тот занял высокий пост товарища министра народного просвещения, придерживался весьма сходных взглядов. “Честные иностранцы печатают в своих журналах, что война России с Турцией не есть война русских против турок, а война варварства против просвещения! – писал он в своем дневнике в конце 1853 г. – Наконец уже и турки народ просвещенный, а мы,



бедные, все еще варвары! Есть ли Бог, есть ли совесть, есть ли честь у этих французов и англичан?! Подлецы” [30. С. 226]. В 1863 г. Катков писал, что “за Турцию Европа вооружилась на нас с ожесточением, с каким никогда не вооружится за Польшу” [27. С. 413].

И Вяземский, и Никитенко подчеркивали моральное превосходство России. Никитенко размышлял даже в этой связи над кодексом политической нравственности, выступая противником того, чтобы “поддерживать варварские обычаи народов мало цивилизованных”, а “с народами слабейшими поступать как с себе подвластными” [31. С. 383–384]. Материальная сила, предредающая поражение слабого, – достояние варварства, нравственная же, идейная, духовная – цивилизации. Нетрудно заметить, что такое понимание формировалось не без влияния истории христианства. Тот же Страхов признавал, что жители Западного края продемонстрировали нравственную стойкость перед лицом полонизации.

Включение “варварства” в автостереотип русских в известной мере обуславливалось той идейно-политической борьбой, которая велась в рассматриваемый период, в частности, между славянофилами и западниками. Славянофилы, считал Б.Н. Чичерин, “охлаждали патриотические чувства тех, которые возмущались нелепым превознесением русского невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, как безрассудное преувеличение. Я сам на себе испытал, до какой степени прирожденная мне любовь к отечеству... страдала от необходимости вести войну с славянофилами. Приходилось напирать на темные стороны нашего быта, чтобы побороть то высокомерное презрение, с которым они относились к тому, что нам было всего полезнее и что одно способно было вывести нас из окружающего нас мрака” [32. С. 157].

И, наконец, о степени образованности поляков и русских. Следует иметь в виду, что культурные потребности польского общества во многом были связаны с особенностями его социальной структуры и прежде всего с уже отмеченной выше многочисленностью шляхетского сословия. И историческая традиция, и более чем реальная угроза социальной деградации побуждали шляхтичей стремиться к получению высокого образовательного ценза. Возможности реализации этой потребности, однако, во многом зависели от государственного курса. В 1864 г. об этом писал Н.А.Милютин: “Поколение, воспитанное после 1830 г., по несомненному свидетельству всех знающих край, невежественнее прежнего поколения, и в то же время гораздо хуже его в политическом отношении, гораздо нам враждебнее” [33. С. 303]. Связь между “полуобразованностью” и склонностью к “разрушительным началам” в России XIX в. – не только в эпоху Великих реформ, но и в пушкинские времена – считалась аксиомой.

Дело, однако, не только в доступности образования. Национальное угнетение приводило также к росту изоляционистских настроений в польском обществе, когда речь заходила о культуре русской. Вместе с тем поляки, как и ряд других народов, внесли ощутимый вклад в культуру многонациональной империи, хотя считать их культуртрегерами на просторах варварской России все же явное преувеличение.

Акцент на русско-польских цивилизационных различиях очень часто имеет следствием отрицание европейского характера русской культуры. Думается, что при поиске различий анализ должен вестись не столько в плоскости достижений высокой культуры, сколько в плоскости внедрения культурных ценнос-

тей в низовые слои общества. Эта задача решалась в ходе модернизации, которая, при всех национальных особенностях, и в Польше, и в России осуществлялась в условиях догоняющего развития. Вообще, в социо-культурном развитии двух народов при ближайшем рассмотрении обнаруживается весьма много общего: сама острота их соперничества, как мне представляется, в существенной мере определялась тем, что велось оно на “одном поле”.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *LeDonne J.P.* The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitic of Expansion and Containment. New York, 1997.
2. *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999.
3. *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999; *Долбилов М.Д.* Полонофобия и русификация Северо-Западного края (1860-е гг.): метаморфозы этностереотипов // [www.empires.ru](http://www.empires.ru)
4. *Ziółek P.* Idea imperium. Warszawa, 1997.
5. *Wotoszyński R.W.* Polacy w Rosji 1801–1830. Warszawa, 1984.
6. Russian Identity / Polish Encounters. Bloomington (in print).
7. *Милютин Д.А.* Воспоминания генерал-фельдмаршала. 1860–1862. М., 1999.
8. *Горизонтов Л.Е.* Поляки и польский вопрос во внутренней политике Российской империи. 1831 г. – начало XX в.: Ключевые проблемы. Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1999.
9. *Горизонтов Л.Е.* Польский аспект подготовки крестьянской реформы в России // Иван Александрович Воронков – профессор-славист Московского университета. М., 2001.
10. *Горизонтов Л.Е.* Поляки и нигилизм в России: Споры о национальной природе “разрушительных сил” // Автопортрет славянина. М., 1999.
11. *Gorizontow L.* Rzut oka na rosyjską historiografię polskich powstań XIX wieku // Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku. Lublin, 2001.
12. *Одоевский В.Ф.* “Текущая хроника и особые происшествия”. Дневник 1859–1869 гг. // Литературное наследство. М., 1935. № 22–24.
13. *Еленев Ф.* Польская цивилизация и ее влияние на Западную Русь. СПб., 1863.
14. *Кателер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М., 2000.
15. *Валуев П.А.* Дневник министра внутренних дел. М., 1961. Т. 2.
16. *Духанов М.М.* Остзейцы. Политика остзейского дворянства в 50–70-х годах XIX в. и критика ее апологетической историографии. Рига, 1978.
17. *Леонтьев К.Н.* Избранное. М., 1993.
18. *Гейне Г.* Собр.соч. М.-Л., 1957. Т. 4.
19. *Редигер А.* История моей жизни. Воспоминания военного министра. М., 1999. Т. 1.
20. Энциклопедический словарь А. Плюшара. СПб., 1837. Т. 9.
21. *Сергеев Е.Ю.* “Иная земля, иное небо...” Запад и военная элита России (1900–1914 гг.). М., 2001; *Ульянов Н.И.* История и утопия // *Ульянов Н.И.* Спуск флага. New Haven (Conn.), 1979.
22. *Шульгин В.* Последний очевидец. Мемуары. Очерки. Сны. М., 2002.
23. *Столыпин П.А.* Нам нужна Великая Россия... Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете. 1906–1911. М., 1991.
24. *Курлов П.Г.* Гибель Императорской России. М., 1992.
25. *Крыжановский С.Е.* Воспоминания. Б.м., б.д.
26. *Чикаленко С.* Спогади (1861–1907). Київ, 2003.
27. По поводу статьи “Роковой вопрос” // Русский вестник. 1863. № 5.
28. *Вяземский П.А.* Полное собр. соч. СПб., 1881. Т. 6.
29. *Гиллельсон М.И.* П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.
30. Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1995. Т. VI.
31. *Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 3.
32. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания. М., 1991.
33. Славянское обозрение. 1892. № 7/8.